

А. СЕВАСТЬЯНОВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

/ ПОВЕСТЬ /

Можно начать рассказ с человека на сцене сельского клуба. Брезентовые тапочки на босу ногу, застарелые солдатские галифе, то ли черкесия, то ли кафтан, подпоясанный широким ремнем с медной бляхой. Лицо непримечательное, но с усами и... руки. Руки, свободно, легко выброшены вперед, почти летящие, руки приглашающие, зовущие, просящие, настоящие руки артиста.

— Граждане и гражданки!— говорит человек.— Товарищи и товарки, каю и генацвале! Начинаем грандиозное представление грузинской народной песни, жемчужиной небывалого подъема искусства " На Кавказе есть гора".

Невыразительные, сонные лица мужчин в зале,— их нужно видеть, когда они работают и поют. Всегда удивительные, иными необъяснимо прекрасные лица женщин и стариков. Дети—сидящие, лежащие на грязном полу,— дети везде одинаковы.

Можно начать рассказ с братьев Киреевых. Все они тут, вповалку, в огромном и неизвестном количестве, даже старший примостился рядом на корточках. Надо увидеть их радостные и восторженные лица. Но если вы человек с воображением, то что-то вас в них оттолкнет, что-то такое даст вам понять, что всего лишь вчера они огромной улюлюкающей оравой гоняли по деревне бродячую собаку, забили её насмерть, нарекли Геббельсом, на воротах распяли глухого Матвея Кубышкина, и всё это время их бандитские хари горели таким же восторгом, как сейчас. И старший, мальчишкой ушедший на фронт, и вернувшийся мальчишкой, хотя и с дюжиной орденов и медалей, вчера, завидуя братьям, по пояс высовывался из окна.

Вы не увидели и не увидите других зрителей, потому что вы не жили в Грачевке в то далекое время, вы даже не видели пруд, а над прудом школу, клуб и колхозное правление, а вокруг двадцать три десятка изб. Как показать всё это, чтоб

от красоты у вас останавливалось сердце. Как удержать красоту, если единственными черепичными крышами были крыши клуба, школы и правления, а все остальные — полуразвалившиеся, крытое соломой, там и тут перебиваемое землянками и воронками от бомб или снарядов, уже старыми, но не заросшими еще пожарами, если конюшня и коровник напоминали скелеты, потому что в последнюю зиму не хватило сена и пришлось кормить колхозный скот соломой с крыш.

И надо, чтобы этим кончился мир, а дальше во все стороны растиались беспредельные равнины, такие же бесконечные и недоступные, как небо, чтоб мир замыкался этими равнинами так, как не могут замкнуть его ни леса, ни моря, ни горы. И надо, чтобы кто-то прорвался через эту бесконечность туда, к другим мирам, пусть через войну и смерть, через Сталинград и Берлин, и все время тянулся назад, к мирной жизни, к земле и детям своим, и вернулся, а здесь затосковал, как тоскует по небу всякая живая тварь, хотя бы однажды взлетевшая, хотя бы выпавшая из гнезда и, по счастливой случайности, не разбившаяся.

II

Но; в общем-то, это неудачное начало рассказа и, может быть, надо вернуться к пыльному полдню, к куче нагретой золы, в которой ковырялись куры и мальчишки, к белой дороге, идущей мимо пруда, мимо мельницы, мимо кладбища далеко-далеко — в поля и теряющейся в знойном мареве, ныряющей в волны его, в нем тонущей.

— Божий пастух овец погнал, — сказал кто-то из мальчишек об этих волнах, и все молчали, все знали и сами, что это божий пастух овец погнал, все лениво смотрели на дорогу.

— Телега едет, — сказал другой.

И опять все молча сидели и лениво наблюдали, как кто-то из Киреевых прижимал увеличительным стеклом пятку задремавшему другому Кирееву, а тот ничего не чувствовал, хотя пятка давно дымилась.

— Кто-то на Кубышке едет, — сказал третий.

— Нет, на Кубарике, — возразил четвертый, и Митя Кубышкин покраснел.

И хотя никто про Митю не вспомнил, и лошадь оказалась не Кубышкой вовсе и не Кубариком, но в этот день избранником судьбы был Митя и придется рассказать, почему самых упрямых лошадей в Грачевке называют всевозможными производными от его фамилии.

Началось это с анекдота тридцатилетней давности, с обеда тридцатилетней давности, когда отец Мити, сам еще мальчишка, щенок еще совсем, упрямый щенок, вздумал спорить с дедом своим и с традициями и таскал из общей миски куски мяса, не дожидаясь, пока будут съедены щи, и за каждый кусок получал ложкой по лбу, пока дед от злости и усталости не промахнулся и заехал Матвеем по уху, и молодая сноха — мать Матвея — подала голос: "Папая, он же оглохнуть может".

Оглохнуть так оглохнуть, и стал Матвей глухим.

Дед засек его до полусмерти, односельчане чего только не делали, чтобы обман обнаружить: и нападали на него ночью, и стреляли над ухом, но он уперся — глухой.

Глухой. И так до самой Отечественной, когда на медкомиссии врачи никакой глухоты, конечно же, не обнаружили, и Матвей исправно жег немецкие танки, и горел сам. Но в сорок пятом, когда жена, выйдя из магазина, увидела его, родного, долгожданного, он не обернулся на крик её, не обернулся, — шагал все тем же солдатским шагом. А она бежала за ним с

~~красноармейским билетом в одной руке, а в другой —~~

керосиновым бидоном в одной руке, тащила другой пятилетнего Митю, и горько было ей потом, что так вот, не по-людски все получилось — не принала к знакомой груди, как снилось ей все эти четыре года, не поголосила по обычаю о близких, покинувших этот мир, и с мужем не улыбались вместе, радуясь друг другу. Не было ничего этого, потому что, когда догнала она его уже возле самого дома, то только и выдохнула устало:

"Ну, прод!" — села на землю и тихо заплакала, и сам он, смутившись, тоже забормотал что-то, забормотал, пытаясь ее успокоить, пустые глухие слова, будто и не было этих четырех лет.

"Но как же ты воевал?" — спрашивали его, а он ухмылялся: "А чего... Там в танк-то, один дьявол, ничего не слышно. Мне даже лучше других было — я по губам все понимаю."

Все это было в сорок пятом, а еще до войны острослов-коных в минуту раздражения упрямую гнедую кобылу обозвал Кубышкой, да так и пошло, все ее упрямое отродье называли тоже Кубышками, или Кубиками, Кубарихами и так далее, а потом, в войну, когда лучших лошадей колхоз отдал фронту, в основном они одни и остались — все одинаково упрямые, толстобрюхие, мохнатые гнедые лошадки, и различать их могли только коных да мальчишки.

Да все это не так уж важно, потому что в повозку, въезжавшую в деревню в тот знойный июньский полдень, былапряжена незнакомая мальчишкам лошадь, и сидели в ней два чужих уса-тых мужика в чужой одежде. По бокам телеги были прибиты две палки, а между палками натянута белая холстина с кричущими буквами на ней:

ГРУЗИНСКИЕ БРАТЯ

ШОТА И АБРАМ РУСТАВЕЛИ

НЕБЫВАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ-ПОСТАНОВКА В НАТУРЕ

Мальчишки стояли возле кучи золы и телега остановилась, подъехав к ним. Сидели в ней два мужика, и были они похожи крашенными в черный цвет волосами, и одеждой нерусской своей, похожие один на другого русские мужики, вот только руки у прыгнувшего с телеги не мужицкие были, стоял он перед мальчишками — артист — и мальчишки стояли. Митя стоял.

Почему он обратился к Мите — рыжие ли волосы Митины виной тому, страсть к общительности в глазах митиных, да, госпожи, может быть, просто увидел он мальчика, который никогда в играх не был Чапаевым, никогда в куче-мала не бывал наверху, покалел, может быть, мальчишку.

Но пока еще он не заговорил, он стоял и смотрел на Митю, а Митя смотрел на него. Был знойный июньский полдень, пыль, поднятая колесами, так и висела неподвижно в воздухе, застыл пруд, застыли ветлы над прудом, куры, мальчишки, он стоял и смотрел на Митю, а Митя смотрел на него, и если б вам случилось оказаться здесь, вы бы почувствовали, что находитесь вне времени и пространства. И еще бы вы поняли, что вы-то уж никак ни избранник судьбы и вы не можете ждать, пока она пригласит вас на пир, вы бы как слепой щенок тыкались в темноте, стараясь снова обрести их, эти самые время и пространство, и неизвестно, где бы вы тогда оказались.

Может быть в большом пыльном селе вы выйдете из автобуса пройдете мимо нового Дома культуры, мимо милиции, Исполкома и больницы, где попеременно стоят мотоциклы, грузовики и воловь упряжки, порадуетесь еще не совсем развалившейся церквушке, пройдете через чахлый сквер, который, судя по множеству всяких запрещающих и предупреждающих табличек,

называется здесь парком Культуры и отдыха, и перейдете мост через удивительно живописную речку. На берегу речки будет пастись коза.

И каким счастливым и светлым воспоминанием окажется для вас эта коза, когда пойдете вы длинной, пыльной улицей мимо скучных домишек, и вот уже и речки больше не видно, и Дом культуры спрятался за этими вроде бы разными, но такими похожими скукой своей домиками, даже церковь вдруг исчезнет куда-то, а вы все идете, по щиколотку утоная в пыли, мимо утопающих в ней кур и поросят, с опаской глядя на них, потому что никогда не известно, будут ли они лениво и неподвижно лежать, или завизжав, закудахтав, шарахнутся, разбрасывая пыль, и вы повалите, что идете сейчас мимо зеленых крылечек, а лучше бы сидеть на одном из них вместе с полудюжиной мудрых стариков и симпатичных старушек и вести покойную уважительную беседу. Потому что услышите от крыльца к крыльцу:

-... люди работают...

-... одежда-то модная...

-... учатся-учатся...

-... а этому только курей пугать...

-... а голова пустая...

-... а так дураком и помрет...

Опять вы тычетесь в темноте, лучше бы вам наконец дойти до конца этой улицы, где в одном из этих скучных домишек вы, скажем, студент-практикант, квартируете. Вы возьмете книгу, но жужжание мух не даст сосредоточиться, и вы будете смотреть в окно, во двор, где костлявая старуха в черном платке, а галлогах на босу ногу, гоняет за курами, ругается с поросенком, делает какие-то хозяйственные дела, вам большей частью непонятные, потом, когда она начинает вязанки сухого сена подни-

мать по лестнице на сеновал, вы выйдете: лестница разохлась, старуха слабая и неловкая— конечно же, вы предлагаете помочь, ведь сил нет смотреть, как она, раз за разом, с вязанкой сена за спиной, неверно и неуклюже ползет вверх по лестнице, вам даже снится, как она оступается и падает с лестницы, может, вы даже читали когда-то в письме из деревни вашему товарищу: "Сообщаю тебе, сыночек, что я жива и здорова, чего и тебе желаю. А еще, сыночек, сообщаю, что полезла я на сеновал и упала с лестницы, даже расшиблась..." И не понять, почему же старуха отвергает вашу помощь, суховаато поясняя, что у каждого свое, мол, дело, и лучше вам дожидаться вечера, когда старуха начнет рассказывать...

А еще лучше, если вы никакой не студент-практикант, а родственник её, скажем или сосед. И тогда ей не нужно будет объяснять вам чьи же это портреты, три мужских портрета, накрытых одним полотенцем. И вы уже будете знать, кто же самый лучший на этой вот пожелтевшей фотографии, присланной где-то в сорок втором с фронта. Все они там хороши, смеющиеся, молодые, в танкистских шлемах, но он-то лучший.

Просто будет старуха говорить, как обычно:

— Нет, про Андрюшу дурного не скажу, и про Васю— тоже, ведь сыночки мои любимые. А Коля все равно самый хороший. Бывало скажет: "Мама ты наверно, устала." Господи, да я и сама-то, как бы ни уморилась, а все не думаю об этом, а чего ж еще вслух-то говорить. Но уж он такой — всегда непонятный был. "Артистом,— говорит,— хочу быть, мама". Так и пропал— непонятные— то, они подолгу не живут.

А, может быть, вы — артист. Тогда вы едете в телеге через скучные села, через забытые богом и ^{страной деревеньки,} сеновалом,

через поля и перелески, мимо прудов и кладбищ, и приезжайте в одну из этих деревенок, и вас окружают мальчишки.

А может быть, вы попадете в колхозную ремонтную мастерскую, прохладную, полутемную, а за окном будет такой же жаркий июньский полдень, а в мастерской вы увидите Митю Кубышкина только взрослого уже, двадцатилетнего, и не будет уже блеска в его глазах.

Обедать Митя не пошел. Он дождался, когда уйдет старик, немного повозившись с отмычкой, открыл его тумбочку и достал оттуда свою масленку.

"Вот черт старик, — беззлобно подумал он. — Хоть говори, хоть не говори — все равно тащит, что под руку попадет. Воровать он любил — я б ему морду начистил, а то ведь тяга у него к инструменту такая, и обижать — то грех."

В обеденный перерыв в мастерской тихо, и приятно было делать сразу три дела — смазывать станок, размышлять о будущей своей жизни и петь. Пел Митя скромную песенку про Ваньку-холуя и барыню, о барынях и размышлял. Особо-то он девками не увлекался, но вот на прошлой неделе опять прошел медкомиссию и главный врач из районной больницы сказал: "Всё, Кубышкин Женись спокойно теперь. Раз уж ты солдат никудышный — так будь производителем, рожай детей для армии, только не таких плоскостопных как ты".

И отец уже заговаривал: "Чего ж, Митрий... Дом мы с тобой перестроили, нашел бы себе теперьча принцессу, сурьезную да работающую, и пошлём сватов".

"А чего, думал сейчас Митя, навекая, — чай не быкам хвосты кручу, а один токарь на весь колхоз. Любая пойдет."

Вот тут-то и зашел механик.

— Злой он был, как дьявол, — вспоминал потом Митя. —

- Врасплох меня застал- задумался я тогда о чем-то.

Взять-то, конечно, все равно пришлось бы, злой он был, механик, или добрый, врасплох он застал Митю или нет, но видно и это внесло какой-то свой настрой в жизнь Мити, коль так долго он помнил о таких мелочах.

- Много работы? - спросил механик.

- Да вот стул Сазонову расточить надо.

- Ничего- не срочно. Собирайся - поехала в Новоникольск. За запчастями. Некого больше взять.

Механик сел за руль "козла" и пробормотал:

- А механик за запчастями в ночь волком рыскаше...- и оскалил зубы, но не рассмеялся и не выругался.

- Почему в ночь?- удивился Митя.- Разве мы не вернемся сегодня?

- Вернемся, вернемся. Это я так, пошутил,- как-то снискока ответил механик, и снова не понятно было, действительно ли он шутит или злится.

"Ну и черт с тобой,- думал Митя,- ты и правда, как волк, да еще и бешеный. Чужой ты у нас и будешь чужим. А еще механик машину-то совсем не бережешь, вон как гонишь."

Он покосился на механика. Тот и правда, словно взбесился. Мотор был на пределе, "козел" прыгал с ухаба на ухаб, его швыряло на поворотах, и швыряло из стороны в сторону Митю.

И постепенно он забыл о механике - его охватило возбуждение. Какое-то болезненно-приятное чувство захлестнуло его, в общем-то хорошее, вроде бы, но стало стыдно вдруг. "Будто с девкой прообщаешься всю ночь а утром от стыда хоть реви",- подумал Митя.

Он попробовал прогнать это чувство и стал смотреть вперед в знойную зыбь, которую какой-то шутник из их деревни называл

морем изобилия, и, постепенно, так ее все стали называть и совсем забыли древнее поверие, связанное с этим миражем.

Что-то скрывалось за этим морем, и машина стремилась к нему, и было не достичь его, оно отодвигалось, оно все так же закрывало горизонт, но там что-то было, что-то большое и важное.

Но главное, наверное, не там, — за горизонтом, а здесь, где ты есть, и там, где ты будешь через час, через день, через многие годы, если ты только будешь в дороге. Главное — дорога, пусть это тряский проселок, пусть ты едешь в разболтанном "козле" — это дорога из прошлого в бесконечность, и ты счастлив пока не знаешь, что — главное, ты счастлив, пока тебе чудится что-то за зыбью полуденного марева.

Да Митя-то и не думал об этом. Просто ему не было уже стыдно сладкой боли внутри. Вся она скопилась внутри в груди его, в сердце, только это и было, это — и горизонт, и воспаленные глаза механика, в которых даже сквозь усталость проглядывало сумасшествие. И тревожное — "куда же ты, куда? и лихое, с посвистом "Гони!" — два крика бились в пространстве и тесно им было, и никак не разойтись.

И если бы вы были рядом, вы увидели бы в митиных глазах тот блеск, которого не смогли найти там, в мастерской, и который увидел в давний июньский полдень артист.

У

А может быть, вы — Митин товарищ, и тогда вы сидите с ним ночью на колючем, — так он выжжен солнцем, — пригорке над прудом, и Митя вам говорит о своем решении уехать в Ленинград.

— Там у меня тетка живет, — говорит Митя. — А здесь я больше не могу.

Он долго рассказывает о городе, размахивая не по росту длинными тяжелыми руками, рассказывает и размахивает руками, и вы уже не замечаете, какие они тяжелые, и вы усмехаетесь: "сейчас полетит", вы оглядываетесь и думаете: "Сирень не претет, соловьи не поют, даже лягушки — и те молчат. Странно".

— Понимаешь, — говорит Митя, — он ведь маленький городишка, Новошикольск... А вот что-то такое случилось, что-то такое, когда шел я через пустырь к новому кинотеатру, а сзади тысячи огней светился город, а впереди светилась реклама кинотеатра, а со всех сторон, по пустырю, по разным тропкам шли люди... и потом, в заде, когда все хохотало — показывали довоенную комедию — я, вдруг, вспомнил, как все мы шли по этим тропкам с разных сторон...

И в вашей памяти останется на всю жизнь сверкающий огнями замок, протянувший к городу тропинки через развороченный бульдозерами пустырь.

— И потом, ночью, — говорит Митя, — на обратном пути, когда на дорогу выбежал заяц, и механик прибавил скорости, и заяц никак не мог уйти от света фар, а механик — я увидел это по его лицу — никак не мог отказаться от погони, я вдруг понял, что они будто веревочкой одной связаны.

... Мне трудно объяснить, но вот еще до того легкого, почти неуловимого поворота руля, когда слышался или почувствовался предсмертный заячий крик, до того, как механик гаденько так хихикнул: "Пострадал, бедняжка", вот еще за те двадцать-тридцать секунд погони я, вдруг, успел позавидовать в чем-то механику, успел почувствовать себя одиноким, понял, что уеду отсюда, что не могу больше, сломалось во мне что-то, другим я стал, у меня даже мысли, слова даже какие-то другие, не...

вычные, самому мне непонятны, появились, и я даже ничего не сказал этому паразиту, не до него как-то было...

"Морду бы набить и механику, и тебе, инь заговорил, прямо как городской, дерьма-то кусок, интеллигент выивый," — думаете вы, но, вам и правда не понятн, что же такое говорит Митя, совершенно не понятно, хоть и говорит он простыми, привычными словами.

"Сирень не цветет, — соловьи не поют — странно", оглядываетесь вы с тоской, и уже понимаете, что не сирень вы ищите, поняли уже, что и в вас что-то сейчас ломается, что-то важное происходит в вашей жизни, и вам надо хорошенько запомнить все вокруг, почему-то это всегда важно, они всегда важны — обязательные безмолвные участники поворотных моментов в нашей жизни часто не казистые, малоприятные, неприличные даже — будь это куча золы, развороченные бульдозером кусты или раздавленная лягушка на дороге. И вы запоминаете на всю жизнь душную ночь, выжженный пригород, летающие руки вашего товарища и, может быть вот этот плеск рыбы в пруду.

Вы вспоминаете, как несколько лет назад вы ездили с ним в рыбоводческий колхоз за мальками для этого пруда, и дурак-шофер решил переночевать у своего кума, а ночью пошел дождь и было невозможно выбраться на грузовике через бесчисленные размытые дождем плотины. Дождь шел целую неделю, и вы с Митей жили целую неделю в клубе, ночью спали на бильярдном столе, а днем играли на бильярде и пытались печатать всякую похабщину на машинке с латинским шрифтом, неизвестно как попавшей в этот клуб. Собственно, тогда-то вы и стали друзьями с Митей, и вот теперь вам кажется, что все это — и бильярдный стол, служивший вам постелью, и машинка с латинским шрифтом, и

бесконечно нудный дождь — вся ваша поездка и ваша дружба ничего сами по себе не значат, все это, как раздавленная на дороге лягушка, запомнится только в связи с этой вот ночью. Потом кто-то из вас завнет и скажет:— Ну что ж, пора спать, — и о рыбе в пруду, — и о рыбе в пруду, —
Смотри, какие поросята вымахали. Вон как плохают, — и вы разойдетесь по домам, а через неделю Митя уедет в Ленинград.

VI.

А, может быть, вы живете в Ленинграде и бываете иногда на улице Чапаева. Это маленькая улица и вы, наверное, заметили в одной из подворотен угрюмого молодого человека с голодным взглядом, наверное, заметили, — хотя, что может быть банальнее молодого человека с голодным взглядом, торчащего в подворотне, — но его-то вы заметили, заметили его тяжеловатое страстное лицо и то, что он не похож на мечтателя или хулигана, он стоит, как деревенский человек, вышедший из ворот своего дома, и глядящий вдоль деревни. Вот только взгляд у него не деревенского человека, не язычески отрешенный взгляд.

Может быть, вы даже встретились с ним глазами, но он отпугнул вас своей совершенно безобразной серьезностью.

А вы, может быть, вспомнили и себя таким, возможно, вы и сейчас почувствовали в нём родственную душу, но он вас все равно не понял, как не мог он понять, когда-то в Новоникольске, что люди шли в кино не с целью объединения, а просто посмеяться и, может быть, вы попытались что-то такое ему втолковать о легкости, о чувстве юмора, о том, что сначала надо просто общаться, а уж насчет объединения — это как получится, а он у вас спросил, как же быть, если нет этой самой легкости.

И тогда вы сказали, что не понял Митя Ленинграда, не сумел он понять, что Ленинград — город отраженный в каналах своих, в мокрых мостовых, в туманах, а главное, сам в себе отраженный, вся суть его, как в зеркале, — в улицах и домах, каждой малости его, и в людях, как в зеркале. Может даже легче стоять и жить в болотной мерзости — весь отраженный в себе и все во всем, в каждом камешке своем имея двойника.

А уж человеку-то, человеку, как ему не иметь двойника. Хотя и жутко становится, когда из ночи, из тумана, из потока машин выныривает, вдруг, и сталкивается с тобой лицом к лицу... остальные — они, может быть другие: сильные, гордые, честные, а этот — как он похож на тебя, он такой же как ты, он двойник твой. Хотя и жутко тебе, но настолько легче жить, сознавая, что не один ты барахтаешься в этой пакости. И не один он, двойник, у тебя их много, все, может быть, скажете вы Мите, а он, Митя, этого не понял: а они-те, за красивыми шторами гостиницы "Дружба" и эти, на улице, спешащие и праздные иностранные туристы и барышни с телевидения — они все поняли это, и неужели же он, Митя, не понимает.

Если б Митя это понял...

А лучше, если бы он мог хоть иногда отрешаться от своих требовательных мыслей, если бы не был таким жестким в мыслях своих.

Лучше бы, хоть на мгновение — не дома кругом, а скалы, и чистота, и бесконечность, и над всем — музыка, вот так, на мгновение, а потом ~~еще~~ пусть все вернется: и дома, и люди с их туризмом и телевидением, только б музыка осталась, и ощутить в музыке себя, ну хоть частушечкой какой, маленьким таким мотивчиком, услышать, как вливается он в звучащую вокруг

симфонию.

И даже не в том, что вот, наконец-то, и ты влился куда-то, не в том, что это ведь не только ты для всех свое поёшь, но и все для тебя, не в том даже, что постепенно частушечка твоя становится лейтмотивом, главное — ты сам начинаешь жить, музыка эта становится для тебя чем-то таким, называй как хочешь, шестым чувством или третьим дыханием, она становится чем-то таким, что помогает тебе жить.

Словом, у каждого для жизни своя хитрость, а вот Митя не сумел ничего такого понять и сделать.

Однажды только... девушка в Гостинном Дворе, игрушечки-вертолетики продающая, к потолку их запускающая, чтоб объяснить, как они работают... что-то такое шевельнулось в душе Мити когда увидел, как она каждый раз, в десятый, в сотый, в тысячный раз провозжает их, эти вертушечки, взглядом к потолку. И потом, когда универмаг закрылся, он пошел за ней тайком, со всякими рывками и перебежками, так, что вспомнил механиково "в ночь волком рыкаше", а после сидел в зале Дома культуры, где пела она в самодеятельности. Вот тогда, в девушке этой, вроде бы увидел он двойника своего.

Пела она, будто веревочку вила. Для себя вила и для него, Мити. И уж так он это понял, что прямо хоть сейчас них петлю из этой веревочки — и на шею себе, вот здесь, в зале, при всем народе... Нашел он двойника своего и тут же потерял — вспомнил он сцену деревенского клуба, и артиста на ней, и песню — веревочку, и руки летящие, зовущие, умоляющие. И не дождавшись конца песни, ушел из зала и опять бродил по улицам и проклиная тот день, когда судьба и артист избрали его.

Солнышко за облачко— ветерок по земле, пыль улетела, приезжий ухмыльнулся:

— Похоже, ты судьба наша, парень,— и захохотал, черный и белозубый — пыган ли, дьявол, кто знает, но страшный, страшный, и, конечно же испугался Митя, да куда уж теперь — замороженный вперед устремился.

Да ведь и у вас в детстве был родственник, крестный или просто друг семьи, появился неожиданно, давно всеми забытый, из дальних морей, из заграничной командировки или русской тюрьмы, в сверкающем автомобиле или с узелком в руках, и дарил вам игрушки, возможно единственную в вашей жизни игрушку и, уж наверное, самую замечательную, дарил вам вашего Щелкунчика, но и пугал вас при этом: может видом своим непривычным пугал; а может быть, сердчишком своим крохотным, но не огрубевшем еще, чуяли вы беду в нем, несчастную жизнь его понимали, и боялись его, и дрожа тянули к нему ручонки, и, бог знает, чем он вас так привлекал — игрой на заморской дудке, своей к вам любовью, сильными руками или жалкой конфетой в этих руках.

Так и с Митей. Это ведь потом все стало просто— жулики и жулики, а ведь тогда-то... Через пять минут приезжий знал, что у Мити родственники в Бутурлиновке и уже кричал, посмеиваясь:

— Эх ты! Митюха-горюха, Митяй-раздолбай, Митька-всанька, пастух рогат! Что же ты? Дядю Ваню знаешь и дядю Петю знаешь, а дядю Яшу не знаешь?! Да это ж я, я— дядя Яша! Да только не говори никому, не говори, что я твой родственник, только отцу скажи. А так-то мы из Грузии, с холмов, с Арагвы печальной.

А сам все похохатывал, подмигивал, усом дергал, и уже шли

они с Митей к дому его, и, отстав немного, ехала повозка с другим артистом, а следом шли мальчишки. Вот оно— счастье—то Митино, хотя, может, отцу—то приезжий и не врал, а просто ночевать попросился, но Митя—то не знал этого, вот оно счастье то его, Щелкунчик его, дудка заморская, музыка волшебная. Она так и звенела в нем весь этот день и потом, вечером, когда народ повалил в клуб, а на крыльце стояли оба артиста, а рядом с ними две огромные корзины, а на дверях была прибита розовая бумажка, а на ней аккуратно выведено химическим карандашом:

" Берем салом, яйцом и бумажным рублём.

Табак разрешается".

И каждый отдавал артистам своё сало, табак или краюху хлеба, и артисты все это аккуратно складывали в корзины, и только начальство колхозное шло бесплатно, начальство, да семья Митина, а когда сам Митя подошел с табуреткой своей, закричал дядя Яша:

— Да табуреточка—то зачем? Эх ты, Митюха— квакуха, отрок ты мой беломраморный, верный товарищ, волхва темнолесная! Табуреточка—то зачем? Я ж тебя на скамейку лучшую, в первый ряд посажу, ты, может быть, самый главный мой зритель, может, я для тебя одного и представлять—то буду!

Шутил он, конечно, и смеялись все, но ведь не со всяким и шутил—то он так.

А потом он вышел на сцену и объявил: " Начинаем грандиозное представление..." и спел свою песенку, и вышел товарищ его, носатый, злой, маленький, карлик почти, и тоже спел, какую—то очень похожую песню; пели они с каким—то выдуманным смешным и трогательным акцентом, плясали с саблями, с гиканьем, но и на всякие местные темы много чего было и частушки

про жулика-кладовщика, и басенка про председателя и мед, и молодёжь осудили, которая из колхоза бежит: "Ах, как наша проститутка убежала в институт", словом, много чего было, но вроде бы еще что-то, более важное на сцене происходило. Соревновались они, что ли, артисты эти, или скорее, маленький этот, карлик соревновался, все пытался сделать лучше, чем товарищ его и вроде бы получалось: и "асса" кричал громче, и саблей размахивал сильнее, а что-то не то было, зрители посмеивались, знакомец Митин, артист, поглядывал на карлика снисходительно, с жалостью что ли, а тот все старался перепеть, переплясать, но ничего не получалось и он злился, всё похлопывал товарищу своему, как, мол, хорошо ты делаешь, друг дорогой, а сам всё злился все больше.

А потом карлик вынес на сцену два венских стула, а артист сказал:

- А теперь нам нужна ассистентка. Женщина, значит.

На сцену вышла Клавдия Степина и остановилась, слишком крупная для сцены этой, сразу стала видна неуклюжесть ее, косоплоскость какая-то, руки-грабли. Загорелые руки, а лицо белое, но какое-то сероватое, что-ли, вроде бы и белизна-то его, - зачем только она берегла его так, - простоквашей мазала, платки по самые глаза завязывала, белизна-то его, здесь, на сцене стала некрасивой, противной даже, а артист засуетился возле и запрыгал такой смешной рядом с ней, неповоротливый и потянул её за рукав, на стул усадил, сам рядом сел, руку на плечо положил, а она шарахнулась от него, опять же неуклюже как-то, не встала со стула, а вместе с ним отпрыгнула.

- Да ты Ленку, Ленку в ассистентки-то возьми. Она-то не испугается - её разве только колхозный бугай не обнимал! - крикнул кто-то из задних рядов.

А Ленка сама шла к сцене, задом вертела, птичкой-бабочкой порхала, глазками черными раскосыми во все стороны постреливала. Она подошла к Клавдии и что-то тихо сказала, и та вскочила, и в глазах ее на мгновение промелькнул и погас огонёк, неожиданный такой огонёк на её рыхловатом сонном лице, очень даже неожиданный и непонятный, а Ленка села на её место и артист обнял её.

Карлик вышел на сцену с ружьем и крикнул:

— Она должна невестой быть моей — мне счастье их невиновимо! — и выстрелил в Ленку.

Но ничего с Ленкой не случилось, она всё также сидела на венском стуле и артист обнимал её, а удивлённый карлик заглянул в дуло ружья, потряс его, потом подбежал к Ленке и вынул у неё из-за пазухи блестящий железный шарик, зрители ахнули: "Гипноз!", а он опять зарядил ружье этим шариком, и опять выстрелил, и опять Ленка была живой и невредимой, и так несколько раз. Но потом артист громким шепотом приказал Ленке: "Теперь умри", и она умерла, запрокинулась на гнутую спинку стула, и грянул еще один выстрел, и тут уже все было без фокусов, натуральное было всё — артист повалился со стула и медленно, силясь приподняться, парая пол ногтём, пополз по сцене и остановился у самого края ее, и умер окончательно. Зрители было захлопали, но он вытал и женщина в зале завизжала "Батюшки, живой!", а он сказал:

— Еще одно последнее сказанье

я сочинил вам на прощанье.

Я — гений, он — злодей, мы — несовместимы,
нам в жизни было очень тесно,

и я убит и взят могилой,

добыча подлого ревнивого фаниста,
но ведь и он когда-нибудь умрет в пустой постели,
никто её дыханьем не согреет,
и будет он лежать в сухой земле,
никто её не оросит слезами,
а скажут все — собаке смерть собачья,
а обо мне другой поэт, певец или воин,
или просто человек хороший будет помнить,
зеленой веткой уберет могилу
и скажет просто: "Спи спокойно, милый",
а я скажу: "Поэт, не дорожи любовью народной,
но после смерти её дорожки!"

И тут он опять, как-то странно скривившись на бок,
повалился на сцену, женщина в зале громко вздохнула —
"Мертвый все-таки", — и карлик, который все ещё стоял непод-
вижно среди сцены, бросил ружье и вскричал:

— О горе мне! Что я наделал!

Но пусть нас рассуждают небеса!

Потом бросился к артисту и поволок его со сцены, малень-
кий, уродливый рядом с ним, даже таким вот, с лицом мертвым,
застывшим в ужасной судороге, и на этом грандиозное представ-
ление закончилось.

Наверно, оно и в правду было великим, потому что, когда
к сцене пробрался хромой старик Ванюра, как всегда с учебни-
ком истории СССР для четвертого класса подмышкой, как всег-
да с хитроватым, немного снисходительным от учености лицом
и сказал:

— Много есть удивительных народов на свете: и грузины,
и армяны, и чудь заозерная, и половцы поганые, жиды опять же
все же русский человек среди них лучший.... — когда он это
сказал, жена его, бабка Феклушка, бросив утирать концами

черного платка заплаканное лицо, запричитала:

— Да замолчи ты, кракодила косолапая! Иди домой, варежка худая, валенок неподбитый, анчутка учинная!

УІІІ

Домой Митя возвращался вместе с артистом, помогал ему нести корзину с собранными продуктами, и вспоминался ему другой день, другое возвращение домой, потому, может быть, что был тот день таким же значительным. Они тогда с дедом ходили в рощу. Был первый в ту осень морозец, и лёд в лужах сверкал на солнце, и хруст его под ногами был тоже каким-то сверкающим, даже вкусным каким-то, и вкусными были ягоды боярышника, прихваченного морозом, а рядом лакомились ягодами красивые пестрые птицы, дед говорил, как они называются, но Митя забыл, да и зачем знать это, если во всей роще только и были они с дедом и эти птицы.

Но тогда был день, и солнце, и со звоном ломающийся под ногами ледок, и рядом с Митей шел добрый дед, а сейчас, когда Митя вглядывался в темноту, чудилось ему сумрачное, несчастное лицо, хотя артист не умолкая, с шуточками, с прибауточками говорил, говорил:

— Эх, Митяха, друг сердечный, брат родной. Поехали с нами, купим тебе штаны шевястовые, рубаху фельдинесовую, пету научим, плясать, из ружья стрелять. Будешь артистом, как Чаплин веселый, как Утесов голосистый, а я буду в дверях стоять, билеты продавать, да лопатой шахтерской деньги сгребать. Поехали с дядей Яшей не пропадешь.

Спать артисты легли на палатках, рядом с Митей. Маленький карлик длинноносый, как лег — так и уснул сразу, посапывал ровно, дядя Яша все ворочался, не давал Мите уснуть, а то

засыпал на минутку и сразу же начинал метаться, вскрикивая что-то непонятное, просыпался, опять засыпал и снова вскрикивал и снова метался. " Господи, заболел что ли, "— думал Митя: где уже ему было понять тогда, какие сны, какие страсти мучают артиста.

А потом гости проснулись, пошептались, тихо слезли с палатей и вышли во двор. Митя тоже спустился на пол, подошел к окну и в предутренних сумерках увидел, как карлик выводит со двора Маньку, телку — полуторинцу.

Он и сам потом не мог вспомнить, не мог никогда понять, о чем думал тогда, зачем полез опять на палаты, лег и попытался заснуть — все происходило будто в жару он был — но бедит бог, когда заплакал он, заскулил: " Мама, украли нашу Маньку, мам, не будет у нас больше молока... ", — то не для того, чтобы догнать воров, не для того, чтобы телку вернуть, а просто от горя, просто чтобы пожаловаться.

IX

Безал Матвей Кубышкин тяжело, неуклюже, а все же версту за верстой покрывал, и ворочалось, перекатывалось, прыгало также неуклюже что-то такое: слова не слова, мысли не мысли, а ладилось по-медвежьему тяжело, не складно получалось.

" Врешь — не уйдешь! Артист! Да я, может быть, полжизни на эту телку угробил. Она на ладан дышала, когда я её домой принёс в прошлом году, я ни об одном ребенке своем так не заботился, с голоду подыхал, и жена моя и дети мои подыхали, на последний кусок молоко у соседа выменивал, чтобы её выводить. Для не было чтобы не думал, когда же детинки мои молоко пить будут, ведь они и не пробовали его с тех пор, как их от материнской груди отняли, не уйдешь, хоть артист, хоть вы "

артисты, и выходите всегда сухими из воды. Пашка Кукушкин тоже в артистах ходит. Когда Семен Сорокин кровь свою на фронте проливал, Пашка на его постели время с Лидкой проводил. Семен — дурак вернулся: "Прощаю тебя Лидушка. Все война виновата", — да чтоб Лидку с детьми прокормить два кило жмуху со свинарника спер. Семен — в тюрьму, Пашка — опять в постель Семенову. Семен — дурак вернулся: "Эх, Пал Палыч, наше дело мужицкое, кобелиное. Тут все от бабы зависит, а тебя я не виню", — а сам всё хлещет эту заразу, которой свиньям под хвостами промывают. Пашка-то чуть пригубливал, все драки ждал, а Семен стаканами. Семена — на кладбище, а Пашка поплевал, поплевал, да и в артисты, в Новоникольск, говорят, подался. Артист. На гармонике. говорят, играет. Степка Пупок тоже артист. До войны грабил, всю войну грабил и сейчас тоже грабит. И будет грабить. Артисты! Дай вам врлю, так вы на нашем мужицком горбу в рай въедете. Но нет врешь, не уйдешь!...."

Когда Митя прибежал к роше, уже все было кончено. Артисты были погружены на телегу, носатый еще ворочался, бормотал что-то, а дядя Яша лежал, как мертвый, и Митя подошел к телеге, чтоб потрогать его, узнать, жив ли, но подойдя, не мог удержаться от смеха, закрыл лицо свое руками и больно надавил на глаза, но все не мог удержаться от смеха, так его насмешили рубчатые следы от галоши поверх крови на лицах артистов, и галоша эта самая в руках Петьки Кривобокова.

На обратном пути он все еще дергался от смеха, слушая как сосед, дядя Игнат, плачущим голосом рассказывает:

— И — их! Да им бы отвязать её, телку-то. Телку-то, говорю, бросить бы им. А они ... от жадности, что ли...

Да мы их и догонять-то не стали б, конешное дело, на

хрена они нам. Нам телка, говорю нужна, а сами-то они на хрена нам? Жадность все, жадность. Отвязали б, что б не путалась, да и маршак от нас! Нам бы их нипочем не догнать. Да и на хрена они нам. Отвязали б-- и все.

А уж когда они даперли до этого, то уж поздно было. Все жадность, жадность наша нас губит, жадность говорю...

А Митя все хихикал, плетясь рядом с Петькой Кривобоковым. Тот так и брёл с галошей в руке и говорил, то ли себе говорил, то ли Мите:

— Это у меня вроде болезни. Я раньше думал, может, я злой такой, ненавистливый к людям, а потом понял: нет, это вроде болезни.

У меня это в первый раз было, когда мать умирала. Позвала это, значит, она меня и говорит: "Петруша, родной! Хотя и младшенький ты, а на одного на тебя надежда, на тебя я семью оставляю. Сам посуди: отец безрукий, да и не просыхает от пьянства, Полошка— девка, а Колька дурной вырос. За ним глаз да глаз нужен". Ну, я это выслушал, значит, вышел во двор, поймал петуха и голову ему отрубил. После думаю: что же я за сволочь, что ж я на невинном петухе беду свою, зло свое вымещаю. А потом понял что это вроде болезни.

А потом я даже заранее начал понимать, когда это со мной случится. Это уж после того, как мать с отцом померли. А Полошку я за Федора Васильевича, нашего директора школы отдал. Я как понял, что у них значит, отношение, пригласил его к себе домой, всё честь по чести, поллитру самогонки на стол, огурчик у бабки Феклушки попросил, кваску. Пить правда, не стали — он не пьет, я не пью, а Колька в тюрьме был. Вы говор Федор Васильевич, мне девку-то не надо портить, не пара она

вам, вон говорю, Татьяна Федосеевна — немка, вековухой может остаться, она хоть в очках, а женщина справная, все при всем, а Полюшку не трогайте. Сидит, молчит. А что, говорю, может у вас серьезные намерения? Тогда что ж, хоть и не понраву мне это, а уж берите её тогда, все лучше, чем девкой в подоле принесет.

"Серьезные,— говорит,— очень серьезные намерения". На том и поладили. Ну, это я к чему? К тому, что родственники мы с ним, у меня к нему зла нету.

А все равно, вот сижу, значит, раз в классе, физик заболел Федор Васильевич при шел на урок, на скрипке, значит, играть.

"Моцарт,— говорит,— Моцарт", — а музыка, и правда, век бы слушал, ну я вынул рогатку и в оконное стекло залепил. И вот, пока это он оглядывался, пока ко мне шел, а я уже понял — сейчас я ему что-то такое сделаю, заранее, значит, почувствовал, хотя и не знал еще, что ж такое я сделаю.

Ну, он подошел, значит, говорит: "Выйди из класса". Я сижу, а он меня за плечо, а я ему — зубами в руку. А он не зря десантником, говорят, был — даже и не попытался вырваться а просто взял меня другой рукой за шиворот и, значит, через весь класс, а я все сильнее ему в руку, уже, чувствую, кровь у меня по подбородку, ну он, значит, через весь класс меня и только в коридоре с руки стряхнул. А потом, ребята рассказывали, руку платком завязал — и опять за Моцарта. Вот что значит десантником был.

Да и вчера я, конечно, что-то такое почувствовал. Еще вечером, когда прихожу домой, а Колька, вот он тебе, как

новенький пятиалтынный, из Новоникольска. "Все, — говорит, — не поеду я в это ФЗО больше, хуже, — говорит, — чем в тюрьме." И потом, гляжу, что-то в сад вышел, ну, я подождал сколько нужно — тоже в сад пошел, там в яблоне дупло есть, сунул руку — пистолет. Ну я пистолет в сортире утопил, а Кольке говорю: "Дурак ты, дурак, неужели тебя жизнь ничему не научила?", а сам уже чувствую, что так не кончится, опять это со мной случится. Может, потому и на рыбалку так рано пошел, хотя, конечно, не мог я знать, что эти дураки телку своруют. Эта штука такая, вроде болезни.

Х

Привезли их опять к Кубышкиным, уложили одного на постель другого на лавку, и позвали бабку Феклушку. Пришла бабка, перекрестилась на образа, все смотрели с интересом, не забьется ли колдунья в падучей — не всегда ей бесы разрешали креститься, но на этот раз обошлось — поставила на стол бидончик с самогонном: работал её сын на сахарном заводе в Новоникольском шофером — нет-нет да и забрасывал ей ведро — другое пятаки на самогон.

— И-и, Матвеевна, — сказала Митина мать, — нечем заплатить то.

— Да ладно уж, чего там, — махнула бабка рукой. — При беде да счастье бывать — вот и вся наша плата, для того и богом поставлены к этому делу.

С носатым она долго возилась, потом сказала:

— Ах, кузнечик ты мой сердешный, как разделали — то тебя, прямо по косточкам разобрали, прямо как карбюрату какую, ну ничего, запрыгаешь опять через месяц, запрыгаешь...

А другого и посмотреть не стала, так и сказала:

— И глядеть не хочу, чего там глядеть, не жилец он.

Да и на вас бы всех глаза мои не глядели, — и ушла, хлопнув дверью всерьдях.

А мужики подходили и подходили, и подсаживались к большому кубышкиному столу, и заглядели уже, и петь пытались, а кое кто уж и задремал, к столу приклонившись.

Хозяин, Матвей Кубышкин, подошел к артисту, сказал обиженно:

— Эх, Яша! Что ж ты подкачал-то так, Яша? Вон дружок-то твой молодцом каким, а ты... Подкачал ты, Яша, подкачал.

— Убили бы меня, — тихо, почти не двигая разбитыми губами, отвечал тот.

— Да не отвечай мне, не отвечай! — закричал Матвей.

Я ж глухой, все равно ничего не слышу.

Проснулся старик Ванюра, сказал невпопад:

— Много разных супостатов на Россия с огнем и мечом шли, а Россия — матушка все равно ни одной войны не проиграла, и опять уронил голову на книжку свою.

" В той степи глухой замерзал ящик ", — пели мужики.

Глаза артиста были закрыты, черные губы шевелились, вторя песне, и было лицо его почти счастливым.